

Н. Лесков

Неоцененные услуги

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Л50

Л50 **Лесков Н.С.**
Неоцененные услуги / Н. Лесков – М.: Книга по Требованию, 2021. – 44 с.

ISBN 978-5-4241-2205-7

Всеобщая гармония и мир. Праведничество, совестливость, сострадание и любовь. Самые сокровенные, самые заветные свои мысли доносит до читателя Лесков в легендах и сказках, рассказах-притчах и обзорениях, созданных в последние годы жизни.

ISBN 978-5-4241-2205-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Н.С. Лесков, 2021

Николай Семёнович Лесков
НЕОЦЕНЕННЫЕ УСЛУГИ

Отрывки из воспоминаний

В этом впервые публикуемом рассказе, пролежавшем под спудом более ста лет, каждый, кто когда-нибудь всерьез читал Лескова, сразу обнаружит немало знакомого – начиная от речевых оборотов, лексики, интонаций и вплоть до сюжетных ходов, мотивов, даже персонажей. Потеряв надежду напечатать рассказ, писатель долго сохранял привязанность к самому замыслу, растворив его фрагментами в новых своих произведениях. Но с легкостью опознается здесь рука Лескова и по другим, более глубоким причинам. При всей пестроте и многокрасочности его творчества – о чем давно и справедливо пишут – мир Лескова поразительно устойчив: из произведения в произведение кочуют герои с повторяющимся набором качеств, со сложившимся распределением ролей, дублируются ситуации, перекликаются мотивы – как бы осколки утраченного (или несобранного?) национального эпоса, творимого, конечно, самим писателем.

Речь идет не обо всех произведениях Лескова, но о центральных, принесших ему известность, даже и скандальную: хроники «Соборяне» и «Захудалый род», роман «На ножах» и знаменитые «рассказы о праведниках» – такие, как «Несмертельный Голован» и «Однодум». Они органично складываются в единый текст, живя по общим законам, где почвенная провинциальная Россия противопоставит «безнатурной» столичной, а всеми презираемые чудаки – ходячей условной морали, где подлинная религиозность (и ортодоксальная, и сектантского толка) попирается показной набожностью, где добродетель бессильна перед интригой, а трезвый взгляд пасует под напором массовой истерии. Немало страниц заняла бы и беглая характеристика этого мира, но вряд ли в ней есть необходимость: знакомясь с публикуемым рассказом, читатель сам вспомнит излюбленные лесковские ходы.

И все же: произведение, так и не прорвавшееся к массовой аудитории, написанное в полуфелетонной манере, по следам конкретных – прочно сегодня забытых – политических событий, оказывается в одном ряду с ключевыми в творчестве Лескова текстами? Не преувеличение ли?

Ответ даст читатель. И конечно – время. Стоит, однако, иметь в виду, что Лесков вынашивал этот замысел не один год и провел его через цепь вполне завершенных редакций, настолько к тому же разных, что некоторые из них могут читаться как самостоятельные произведения (первое упоминание о замысле относится к 1888 г., один из промежуточных вариантов – к 1891; окончательный текст появился, видимо, чуть позже). Эта настойчивость в работе – не такая уж, кстати, частая у Лескова – симптоматична. И прежде всего бросается в глаза, что почти все те реальные лица (выведенные в основном под вымышленными именами), кого Лесков рисует в рассказе с неизбывной иронией, называя «людьми крутой патриотической складки», двумя десятилетиями ранее составляли круг его непосредственного общения – отнюдь не тесный приятельский кружок, но сообщество единомышленников, связанных сотрудничеством в одних и тех же – консервативных – изданиях и тяготевших к платформе М. Н. Каткова, признанного «столпа» правой печати. Альянс, правда, был недолгим. В начале 1870-х гг. писатель всерьез разделял их взгляды, но уже к концу десятилетия бесповоротно им изменил.

Политические убеждения Лескова прошли извилистый путь – прихотливый, казавшийся многим путаным, но и выстраданный, и по-своему логичный. Разрыв с охранителями стал в его эволюции поворотной точкой: огненные суждения Лескова не то чтобы тронуты общественным скептицизмом, хотя часто складывается такое впечатление, но пронизаны глубоким неприятием партийной борьбы. Вне ее порочного круга найти ответы на существенные вопросы – вот, пожалуй, скрытая пружина поздней публицистики писателя. Потому, возможно, он столь настойчиво возвращался к своему замыслу, потому испытывал недовольство, вновь и вновь перерабатывая текст, что ощущал потребность в убедительной дискредитации любой политической доктрины – не только лево-радикальной (на полемику с нигилизмом Лесков положил едва ли не всю жизнь, расплатившись за это своей репутацией), но и консервативной, некогда для него притягательной.

И хотя в рассказе затронуты события конца 1880-х гг, предметом авторской иронии оказались те самые панславистские упования, которые Лесков еще в 1870-е гг. наблюдал с близкого расстояния, завязав контакты с московскими славянофилами и прежде всего – с их лидером Иваном Аксаковым. Как писатель ни дорожил этими связями, но и в те годы панславизм казался ему ребяческой иллюзией, а десятилетием спустя, когда похмельем мучились многие из недавних защитников братьев-славян, разоблачить эту кампанию было особенно соблазнительно. Правда – и рискованно. В эпоху Александра III «люди крутой патриотической складки» все больше входили в силу, и неудивительно, что писателю так и не удалось довести рассказ до печатного станка.

Такова к тому же природа таланта Лескова, что критика идей обычно превращалась под его пером в карикатуру на их носителей, придавая самой масштабной полемике оттенок личной вражды, тем труднее маскируемой, что Лесков редко мог без раздражения вспомнить своих давних единомышленников. И все же – маскируемой.

«Неоцененные услуги» – коварный памфлет. Четко пропечатанная поначалу картина с резко очерченными деталями и конкретными реалиями убеждает как будто, что перед нами правдивая история, бесхитростно изложенная непритязательным бытописателем, каким Лесков любил представлять, подбирая скромные подзаголовки своим произведениям. «Отрывки из воспоминаний», излюбленное авторское определение жанра, – не более как ловушка для доверчивого читателя: исподволь Лесков менял манеру письма, решительно смещал акценты и даже искажал реальные события, замутняя при этом картину загадочными несообразностями, подергивая полуромантической дымкой или смело шаржируя, нарушая пропорции и попирая масштабы. Не случайно в рассказе цитируется – и явно, и скрыто – М. Е. Салтыков-Щедрин. Лесков многому у него научился, взрастив, однако, гротескные приемы на совсем иной, не щедринской, почве. Идеализация и буффонада, лирическая стихия и комический алогизм всегда органично уживались у Лескова, а в публикуемом рассказе сплелись столь тесно, что границы не ощущаются – и мы лишь с удивлением уже постфактум замечаем, что орловские предания, неизменно связанные для Лескова с незыблемыми этическими ценностями, внезапно травестируются петербургским высшим светом, вызывавшим у писателя глубокий скепсис.

Предмет самых заботливых попечений Лескова, «Неоцененные услуги» – как

и все поздние дети – сосредоточили в себе особые авторские надежды, надолго, однако, погребенные в архиве. Жизнь рассказа начинается лишь теперь. Любопытно будет наблюдать, как сложится его судьба и как отразится в этой судьбе наше время – сродни ли оно надеждам писателя, побуждавшим его столь упорно возвращаться к своему замыслу?

I

В 1872 году по осени, когда я написал «Запечатленного Ангела», об этом рассказе услыхала покойная фрейлина Пиллар ф<он>Пильхау и от нее приехал ко мне генерал-адъютант Сергей Егорович Кушелев с просьбою – чтобы я дал рукопись, которую они хотели прочесть императрице Марии Александровне³. С этого случая у меня начались знакомства с несколькими домами, считавшимися тогда «в свете». Более прочих я сблизился с домом Кушелевых, где был принят дружески. Здесь я видел много разных интересных людей и между прочим встречался несколько раз с покойным дипломатом Жомини⁴. Мне очень нравился его тонкий и гибкий ум и прекрасная манера делать разговор интересным и приятным. Особенно я любил слушать, как он отвечал на предлагавшиеся ему «политические» вопросы или отшучивался от нападок на его «европеизм», которому тогда уже приписывали большой вред и противопоставляли ему то «трезвое слово» Каткова, то «патриотизм» Аксакова, то «аргументацию» Ростислава Фадеева и «смелые ходы» Редеди⁵.

Все это вызывало самые разнообразные оценки и давало повод к жарким и любопытным спорам, в которых наиболее отличался покойный Болеслав Маркевич, «ложившийся в лоск за Каткова». ⁶ Его антагонистом был Z, которого часто ввали «несогласным князем». Это был человек умный, а еще вернее сказать, остроумный, но «неопределенного направления» и, что называется, «пила». Он слыл также за легкомысленника, и нес порицания за то, что любил «шутить высокими вещами». – За это его не везде жаловали, и он успел одно время довольно основательно попортить этим свою блестяще начатую служебную карьеру, но после изменил свой характер и все исправил.

Искренних чувств и убеждений несогласный князь не имел никаких. Постоянство он обнаруживал в эту пору только в одном, – он всегда был противоположного мнения с тем, с кем в данную минуту разговаривал, и всегда был склонен доказывать, что всякий его собеседник служит бесполезному или даже прямо вредному делу.

Любопытные воспоминания о виденном и слышанном мною в обществе этих лиц теперь еще не могут быть описываемы, а здесь я намерен рассказать только одну курьезную беседу, происходившую на нейтральной почве и сравнительно в позднейшие годы.

Раз летом мы с князем поехали к Кушелевым, в Царское Село, и при нас, незадолго перед обедом к ним зашел Жомини. Несогласный князь находился в расположении спорить и «прицелился» к дипломату по поводу занимавших тогда общество болгарских дел. Он повел беседу очень остроумно и игриво, но так плотно атаковал Жомини, что тот почувствовал тесноту и, сократив свой визит, удалился. А мы съели в благовремени предложенный нам обед, а после обеда пошли в довольно большой компании пешком в Павловск, и тут вздумали не возвращаться назад в Царское Село, а уехать прямо отсюда в Петербург. Наши хозяева провожали нас к самой павловской железнодорожной платформе, у которой мы застали готовый к отправлению поезд.

Это был один из ранних поездов, которые идут из Павловска почти пустые с тем, чтобы забирать еще из Петербурга пассажиров на музыку. В Петербург с

таким поездом едут только очень немногие, – исключительно такие, которые приезжали в Павловск не для гулянок, а по какому-нибудь делу и спешат назад.

Не помню наверно, в котором часу отходил этот поезд, но с ним из Павловска отправлялось так мало, что когда я и князь взосли в вагон первого класса, то мы застали там только одного пассажира, и этот пассажир был не кто иной, как сучопарый Жомини.

Мы очень обрадовались такому приятному спутнику, заняли места в уголке, где могли надеяться, что к нам никто посторонний подсосеживаться не станет, и у нас сразу же зашли разговоры, которые были продолжением царскосельской беседы, т. е. князь начал «народопоклонничать» и «нападать на дипломатию», а Жомини отшучивался и в этой игре стал давать князю шуточные сдачи, в которых было, однако, нечто характерное и достойное воспоминания.

Сначала князь и Жомини говорили между прочим о старой и новой дипломатических школах, о «меттерниховщине» и «горчаковщине» и противопоставляли приемам этих дипломатов «прямолинейный бисмаркизм». Князь в этот раз рыскал на славянофильских крыльях и на скаку метал «пестрый фараон». Он отстаивал «народный смысл» и безусловно отрицал какой бы то ни было <смысл в> дипломатических приемах, причем особенно едко осмеивал так называемые «интриги». По его словам, все интриги дипломатов всегда были только вредны, и никогда ни одна из них не повела ни к чему полезному.

– Ну уж, это слишком решительно сказано, – отозвался Жомини и добавил, что бывают случаи, когда прямо действовать в политике нельзя, и тогда интрижки бывают нужны и приносят пользу.

– Какого же рода это случаи?

– Разные, и, пожалуй, по преимуществу такие, когда приходится достигать полезных целей вопреки желаниям самого общества.

Князь пристал к нему с просьбою наглядно показать нам хоть несколько таких случаев, где интрига дипломатов, действовавшая в противность общественному желанию, была необходима и принесла несомненную пользу государству.

– Эта задача нелегкая, – отвечал Жомини, – но, однако, мне кажется, я могу ее исполнить и, может быть, немножко помирю вас с интригою. Начинаю без всяких вступлений, потому что буду говорить вам о фактах, очень недавних и притом самых общеизвестных. Я расскажу вам, если угодно, про три интриги.

Нам это, конечно, было угодно, и Жомини начал беседу.

II

– Первое – я думаю, вы помните, когда затеялось дело о признании независимости болгарской церкви?⁷

– Да; помню, – отвечал князь.

– В таком разе, вы должны помнить и голоса, воздымавшиеся тогда в пользу константинопольского церковного главенства? – продолжал Жомини. – Многим у нас очень хотелось, чтобы не была допущена самостоятельность церкви в Болгарии. По словам одной газеты, которую почему-то почитают в особом положении, – этого желали будто все истинные сыны церкви. Дипломатия, собственно говоря, всегда чувствует изрядное стеснение, когда ей приходится согласовать свои действия со вкусами церковных сыновей, и потому мы им всегда уступаем, в чем можем, но тут уступить было нельзя, потому что дело касалось общего положения, невнимание к которому со стороны церковных сыновей, прямо сказать, равнялось ослеплению. Если бы мы признали бесправие одной, хотя бы и маленькой, славянской державы иметь свою церковную независимость от константинопольских отцов, то мы подали бы логически вытекающий отсюда повод отвергать право точно такой же самостоятельности и за православную церковь в большой стране, потому что ведь не в величине страны дело...

Но тут князь перебил Жомини и сказал, что Россия и Болгария – это очень большая разница! и притом для нас этот вопрос о церковной самостоятельности уже давно решен в нашу пользу и под это решение никто не станет подкапываться.

– Конечно, конечно – покада «с нами Бог»⁸ Бог и с нами Бог...» (*Revue des etudes slaves*, Paris. 1986, э 3, р. 451).], но мы не знатоки церковного права и по своей дипломатической трусости боимся опираться на средства малоизвестные, и потому предпочли обратиться к тому, что уже испробовано и что дает известные, определенные результаты...

– То есть вы сынтриговали, чтобы болгарам не было запрета выделиться из-под зависимости патриарха.

– Да, – немножечко сынтриговали.

– И болгары вам за это прекрасно заплатили...

– Я не совсем ясно понимаю: о какой вы говорите плате? Вы, может быть, разумеете их «неблагодарность»?

– Конечно!

Жомини сделал гримасу и отвечал:

– Ну, благодарность в политике... Это знаете, ведь такие вещи, о которых напрасно говорить, и мы, сынтриговав, как умели, против русских друзей византийских монахов, заботились вовсе не о том, чтобы сделать удовольствие болгарам, о которых мы имеем довольно близкие представления; а мы берегли Россию от всякого беспокойства когда бы то ни было вновь думать и рассуждать о том, что у нас сделано в своей лаборатории и по своему рецепту.

– Я вас понимаю, – сказал князь, – но как же вы это оборудовали? как вы интриговали?

– А это после... когда-нибудь... И поверьте, это совсем не особенно хитро и интересно, а только хлопотливо.

– А очень хлопотливо?

– О, очень! время обнаружит со временем все наше интриганство в этом деле, и тогда окажется, что мы иногда стояли на высоте патриотического призвания не ниже тех, которые иногда слишком громко шумят о своем слепом патриотизме, и вы согласитесь тогда оказать мне доверие, – что интрига бывает нужна, а теперь я расскажу вам о некоторой другой интриге, которая опять касается такого неважного с вида дела, до которого внешней политике, собственно говоря, как будто никакого касательства нет, но которое люди крутой патриотической складки так поставили, что бедные дипломаты почувствовали необходимость пуститься в интригу, чтобы помешать довольно большой глупости и остановить позорнейший скандал, затеянный дальновидным дипломатическим умом самого Каткова.

– Как это: вы сочетаете слова: «глупость» и «Катков». Разве Катков делал глупости?

– Делал, и очень большие, и очень грубые. Не позабудьте, что он открыл и навязал России таких людей, с которыми ни один порядочный человек не хотел бы знаться. Из них здесь назову Ашинова.⁹

– Ах, вы это об этом «воровском казаке»! – воскликнул князь и расхохотался.

– Да, вот я об этом господине Ашинове, от воспоминания о котором вы теперь изволите так мило смеяться... Но ведь было время, когда возвешение о нем принимали иначе.

– Мне он никогда не казался ничем другим, как прощельюю.

– Это очень может быть, и я даже нимало не сомневаюсь, что всякий рассудительный человек не мог хорошо думать об этом артисте, но, благодаря нашему Михаиле Никифоровичу, мы с этим Ашиновым имели черт знает сколько хлопот, и это не дошло до большой глупости только благодаря нашей интриге.

III

Я, как только прочел в газете Каткова о появлении «атамана вольных казаков», так мне показалось, что почтеннейший Михаил Никифорович как будто изменяет своей прозорливости, с которою он нас учил и которой мы с благодарностию обязательно слушались, но на этот раз мне показалось, что нам трудно будет соединить свои обязанности к нему с требованием служебного долга. Катков прямо шел к тому, чтобы свести правительство страны к якшательству с беспаспортным «воровским казаком» или бродягою; а нам, дипломатам, дорог престиж правительства! Михаил Никифорович, открывая дорогу этому милостивому государю, очевидно, заигрался, но ему еще верили, а он верил проходимцу, выступающему на арену искателя приключений с ребяческою отвагою старинного самозванца. По-нашему, сразу было видно, что затевается очевиднейшая глупость! Теперь, при облегчении всякого рода сношений, этого рода выходы ведь не могут достигать таких больших успехов, как было во время оно... Но, однако, Михайле Никифоровичу все удавалось, и тут вдруг удалось так прославить Ашинова, что его не только стали принимать в дома, но захотели даже «вести его в круг действий»... Все это произошло так скоро, что, когда мы получили об этом авантюристе кое-какие сведения, и притом сведения, очень для него невыгодные, – Катков уже втер его в благорасположение очень почтенных особ, и Ашинова пошли возить в каретах и передавать с рук на руки, любуясь его весьма замечательными невежествами, какие он производил с безрассудством дикаря или скверно воспитанного ребенка. Он каждый день появлялся за столом у кого-нибудь из вельмож, которые хотели особенно слыть за патриотов, звал холопски полуименами государственных людей и не только не отдавал чести высшим военным чинам, но охлопывал по плечам приближавшихся к нему за трапезами генералов и всем давал чувствовать, что «боится отравы». С этой целию он или ничего не пил за столом, или же пил только из чужих рюмок и из чужих стаканов... Да, да, да, – я ничего не преувеличиваю, а говорю вам настоящую правду, – этот наглый дикарь вообразил себе, что его у нас хотят отравить, и, приезжая в числе званых гостей, он не садился за стол прямо лицом к прибору, а помешался как-нибудь сбоку или на стул верхом, и или ничего не пил и не ел, или же бесцеремонно брал кусок с чьей-нибудь чужой тарелки и выпивал чужой стакан или чужую рюмку. И это все верно: я сам ездил смотреть его в один дом, – разумеется, incognito, и видел это раскосое лицо, эти ужасные бородавчатые руки, покрытые какою-то рыжею порослью, и слышал даже, как он говорил по-французски: «шерше ля хам»... Истинно, – «шерше ля Хам»... И Хам был найден, – это был сам он... он даже потрелал при всех по лысине генерала и поэта Розенгейма¹⁰ и назвал гостей «дурашками»... «Чего, мол, смотреть на Европу!.. Дурашки»... И все это не конфузило людей, очень чутких к приличиям, а напротив, придавало значительности господину Ашинову, который после подобного баловства уже до того развернулся, что стал ходить в любые часы к министрам и настойчиво добивался свидания с ними, поднимая при отказе шум и крик. Некоторым из них он в глаза наговорил больших дерзостей в их приемных. Одного сановника он схватил за пальто в вестибюле его казенной квартиры, и тот насилу от него вырвался, покинув в руках его свое верхнее платье; другому он заступил ход на его